

И.Б. Роднянская

### «Гляжу на будущность с боязнью...»

В стихотворении Лермонтов, обращаясь к уже устоявшимся в его поэтике образам и оборотам, размышляет над загадкой своего жизненного пути, над ускользающим смыслом собственной участи. Написанное не ранее 1837 (возможно, это зрелая редакция наброска «Мое грядущее в тумане»), стихотворение вместе с тем близко по душевному стилю к типичным образцам юношеской лирики.

Датировка стихотворения спорна. Б. Эйхенбаум связывает его создание с арестом и ссылкой поэта в 1837; в ЛАМ датируется 1837–1838; в комментариях И. Андроникова — 1838, на том основании, что автограф находится на одном листе с посвящением к «Тамбовской казначейше» и с «Кинжалом» (датировка их тоже предположительна).

Биографическую привязку стихотворению, возможно, дают слова Лермонтова из его письма к С.А. Раевскому в марте 1837: «Мне иногда кажется, что весь мир на меня ополчился» (ср. с обратным состоянием: «Когда забот спадает бремя... Тогда с отвагою свободной / Поэт на будущность глядит...» — «Журналист, читатель и писатель», 1840). К тому же есть вероятность, что стихотворение написано одновременно с тематически близкими вещами, приходящимися на тот же или такой же период духовной озабоченности и датируемыми обыкновенно 1837: «Я не хочу, чтоб свет узнал», «Не смейся над моей пророческой тоскою». Однако, поскольку основные мысли и формулы стихотворения относятся к числу сквозных в творчестве Лермонтова, с его упорными самоповторениями, подобная аргументация при датировке не может быть решающей.

Смысл стихотворения также вызывает разноречивые толкования. Оно, несомненно, отражает напряженную внутреннюю ситуацию, когда перед возможностью крутого перелома подводится итог прожитому (ср. с преддзельными размышлениями Печорина: «Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?...»). Однако что за «будущность» и «другая жизнь», о которых говорит поэт? Р. Иванов-Разумник, А. Гуревич и др. различают здесь выражение тоски по идеалу, по нравственному обновлению. Многие комментаторы полагают, что Лермонтов имел в виду скорее исчерпанность земного существования, предчувствуемую кончину и жизнь за гробом. Э. Герштейн проводит параллель с лирическим отступлением в 41-й строфе «Тамбовской казначейши», где в сходных выражениях говорится об усталости и именно о смерти (впрочем, непосредственно за этим высказана надежда воспрянуть); в строке: «Я в мире не оставлю брата», как и в упомянутом отрывке из «Казначейши», исследовательница находит отклик на пушкинского «Узника». Притом первые 4 стиха «Гляжу...» считаются пессимистической (с вкраплением измененной строки из А. Полежаева) репликой на зачин пушкинских «Стансов» («В надежде славы и добра»), хотя вместе с тем это типичная лермонтовская автоцитата: ср. «Гляжу назад — прошедшее ужасно, / Гляжу вперед — там нет души родной» (1830).

Последнее толкование подчеркивает в стихотворении тона меланхолической безнадежности, сосредоточивая внимание на финальной метафоре «увядшей» души («ранний плод, лишенный сока»), которая ставит стихотворение в одну цепь с юношеским «Он был рожден для счастья, для надежд» (1832), где впервые встречается этот образ «плода», и с «Думой» (1838), где он наполняется новым, «укоризненным» смыслом. Между тем первая половина стихотворения насыщена такой тревогой, столь требовательной заинтересованностью в будущем и столь энергичным запросом к жизни, что об усталом приятии конца не приходится говорить. Нерв стихотворения — невыносимая утрата чувства цели, чаяние избавления и всеобъясняющей развязки («вестник избавленья» — возможно, ангел, в соответствии с греческой этимологией этого слова, но не обязательно «ангел

смерти»). В стихотворении схвачен психологически острый, мучительный, пограничный момент — «между двух жизней в страшном промежутке надежд и сожалений», как сказано о сходном переживании еще в стихотворении «Смерть» («Ласкаемый цветущими мечтами», 1830–1831). Во время таких кризисов Лермонтов не раз затевал пылкие прения с богом по поводу жестокой непостижимости провидения (стихотворение «Я не для ангелов и рая», 1832, и др.); настоящее стихотворение — одно из последних в этом ряду, между тем как в упомянутой 41-й строфе «Казначейши» речь идет не о вседержителе, «горько прекословящем» планам поэта, а о сопротивлении этим мечтам безличных «законов природы»: соответственно вместо скорбного упрека — там самоирония. Существенно, что похожий философский и эмоциональный перепад уже намечается в стихотворении. «Гляжу на будущность с боязнью...» (что свидетельствует о его переходном характере): по мере движения от начала к концу страстные претензии к божественному произволу сменяются печальным признанием власти «рока», иссушающих законов бытия.

Импульсивно-прихотливое движение мысли (в том числе почти алогичные контрасты: «тьмой и холодом объята... под знойным солнцем бытия») облечено в строгую, симметричную строфическую и интонационную форму, два десятистишия 4-стопного ямба с рифмовкой *AbAbCCdEEd*, в каждом первое четверостишие является тезой, а последующее шестистишие — ее развитием и пояснением. Эту так называемую одическую строфу Лермонтов использовал лишь однажды (не считая родственного по теме наброска «Мое грядущее в тумане») — в стихотворении «Когда б в покорности незнания» (1831). «Гляжу на будущность с боязнью...» во многих отношениях звучит как намеренная полемика с этим стихотворением, полным юношеского идеализма, как прощание с «неисполнимыми желаньями» и утрата веры в метафизические гарантии «надежд юности» (любовь и надежды теперь для поэта — «дань земная»).